

НАША СТРАНА

Год издания 74-й. Буэнос Айрес, 6 августа 2022

“NUESTRO PAIS”

Buenos Aires, 6 de agosto de 2022

No 3179

Забывший парижанин. Возвращая наследие Владимира Рудинского



Писатель прожил без малого век. Его судьба и взгляды не сделали его популярным, но он стал хроникером культурной жизни изгнания и летописцем русской словесности. Рассказывает исследователь Михаил Григорьевич Талалай литературоведу Ивану Никитичу Толстому.

Иван Толстой: Петербургское издательство «Алетейя» выпустило три тома сочинений эмигрантского писателя Владимира Рудинского. Можно держать пари, что этот житель Парижа неизвестен не только широкой, но и узкой публике. Тем не менее, трёхтомника он удостоился. За разъяснениями я обратился к его литературному «адвокату», одному из составителей и соредкторов этих изданий Михаилу Талалаю. Что это за загадочный Рудинский, которого такими огромными кирпичами издают, что за этим стоит, стоило ли это делать? Потому что фигура совершенно загадочная, и, конечно, большинство из читателей в России не представляют себе, кто это. Признаюсь, и я тоже не очень представляю, хотя, кажется, я этого человека мог встречать.

Михаил Талалай: Да, Иван Никитич, Вы могли, наверное, встречаться с ним в Париже, даже в начале нашего, XXI века, потому что Даниил Петров (это его настоящее имя, сам он чаще всего писал под псевдонимом Владимир Рудинский), прожил необыкновенно долгую, почти сто лет, и плодотворную жизнь.

Но я сначала назову имя своего соредктора американского коллегу Андрея Власенко. Он меня увлек фигурой Петрова-Рудинского, у него, наверное, были свои причины так серьезно и долго заниматься фигурой этого литератора. Меня здесь интересовало то, что это – вторая волна. В последнее время я больше занимаюсь именно этим сегментом русской эмиграции. Началось это всё с Бориса Ширяева, но оказалась много разного,

интересного, неизданного. И в случае Петрова-Рудинского меня привлёк неожиданный момент его ухода на Запад в этой второй волне, но не с немцами, как это было обычно для второй волны, а с испанцами, с «Голубой Дивизией». Экзотический испанский, средиземноморский момент.

Затем меня привлекла его литературоцентричность – всю свою творческую жизнь он отдал русской литературе, он упивался ей, писал о ней, рецензировал, читал, собирал, у него в Париже была великолепная и редчайшая библиотека периодических эмигрантских изданий. К сожалению, она исчезла после его смерти. Даниил Петров начал писать в конце 1940-х, а закончил уже в начале нового века и добрался, как рецензент, уже до книг Улицкой, Акунина и Игоря Шесткова. Почти 70 лет в строю. Он читал всё, всё обозревал, описывал, реагировал. Это вся русская литература: и советская, которую он называл «подсоветской», а также эмигрантская и «постсоветская» – нынешняя, современная.

Первые два тома мы отвели его текстам о русской литературе, первый – той, которая осталась в рамках исторической России, Советского Союза, назвав этот том немножко пафосно, цитируя автора, «Вечные ценности», а второй том – «Мифы о русской эмиграции», куда мы собрали его литературоведение по зарубежью.

И я бы еще добавил некий момент землячества, потому что Рудинский-Петров – мой земляк, он родился в Царском Селе, учился, сформировался в Ленинграде.

Тут я должен извиниться перед читателями, потому что в предисловии к первому тому мы написали, что он родился в 1918 году в городке, которой тогда стал Детским Селом. Но сейчас, готовясь к нашей встрече, я стал проверять по датам, действительно, в 1918 году Царское становится Детским Селом, причём с чудовищной прибавкой «имени Урицкого», но это было чуть позже рождения нашего автора. Всё-таки он несколько месяцев прожил как царскосёл, и этот момент он постоянно с гордостью подчёркивал, цитируя Пушкина и Гумилева.

Он учился в советской десятилетке, которая располагалась в том же самом гимназическом здании, где учился и Николай Степанович.

Думаю, что в 1920-1930 годы там ещё хорошо помнили, знали, цитировали стихи Гумилева, который становится на всю жизнь кумиром Петрова-Рудинского.

Прочитав такую его фразу: «Под занавес, перед крахом нашей культуры Бог послал России великого поэта, одного из лучших, каких она когда-либо видела – Николая Степановича Гумилева.

И одарил его со всей щедростью не только талантом, но и мужеством, и высоким благородством».

А затем – Ленинград. Он – выпускник ЛГУ, и жаль, что он мало писал и о Царском Селе и Ленинграде, но кое-какие мемуары он оставил: **Иван Толстой:** Из воспоминаний Владимира Рудинского о Ленинградском университете в 30-е годы, включённых в первый том, «Вечные ценности»:

«У нас, на филологическом факультете, расположенном в отдельном, сравнительно небольшом доме, направо по набережной, выходя из громадного, длинного здания Ленинградского университета, было в конце тридцатых годов, когда я там учился, много превосходных профессоров. Латинскую и древнегреческую литературу нам читал граф Иван Иванович Толстой (говорили, что он приходится дядей писателю Алексею Николаевичу Толстому), маленький и худенький, с густой серебряной шевелюрой и тонкими, еще темными усами, отличавшийся необыкновенной вежливостью и предупредительностью и считавшийся крупным специалистом по античному фольклору. (От себя сделаю поправку: И. И. Толстой не был графом и не был дядей А.Н. Толстому – Ив.Т.). Средневековую и ренессансную литературу преподавал Александр Александрович Смирнов, плотный, широкоплечий, в больших роговых очках и с постоянной приветливой улыбкой на губах. По своему главному интересу в науке, он был одним из немногих в России кельтологов; издательство «Академия» опубликовала, лет за десять до периода, о котором я говорю, древние ирландские саги в его переводе. Позже, кончая университет, я готовился было под его руководством написать диссертацию о Кальдероне; но пришла война, и эта диссертация осталась никогда не написанной...»

С классицизмом и западной литературой XVIII века нас знакомил Стефан Стефанович Мокульский, мужчина атлетического сложения, с орлиным носом, крупными чертами лица и массивным, совершенно голым черепом, бывший почему-то абсолютным кумиром всех студентов. Про него рассказывали, как анекдот, что он однажды жаловался в деканате: «Когда я перечитываю мои лекции прошлых лет, у меня волосы встают дыбом – так много в них вульгарного социологизма!» (А в тот момент он был, понятно, принужден волебно следовать духу времени). «Ну» – говорили, посмеиваясь студенты – «если уж у Мокульского волосы встали дыбом...». Нет, я не придумываю и не путаю; у всех троих действительно были именно такие, двойные, имена

и отчества: Иван Иванович, Александр Александрович, Стефан Стефанович. Бывают подобные совпадения; да бывают и более странные. В тот же период нам читал на первом курсе античную историю профессор Раков, а французским языком с нами занимался Лебедев. Нам не хватало только Шукина, чтоб в университете оказались налицо все персонажи известной крыловской басни. Шукина, положим, на моей памяти так и не появилось; но, правда, на одном из старших курсов нам потом преподавал русскую историю XIX века некто Окунь...».

Михаил Талалай: Петров-Рудинский тут называет имя замечательного испаниста, знатока Сервантеса, профессора Александра Александровича Смирнова, у которого он должен был писать диссертацию о драматурге Педро Кальдероне. Но тут – мировой катаклизм, начинается Вторая Мировая война и в Царском Селе вскоре оказываются испанцы, та сама дивизия, которую мои современные коллеги предпочитают назвать «Синей Дивизией», а сам Петров-Рудинский называет её «Голубой». Конечно, это были союзники Вермахта, но кое-какими нюансами – у испанцев не было расовых теорий и их вёл в эту войну антикоммунизм. Это были, в основном, ветераны их Гражданской войны. Многие говорили, что шли мстить за своих погибших родственников, за поруганную католическую Испанию. Итак, уже в сентябре 1941 года, через несколько месяцев после начала войны, в городе Пушкине (так переименовали в 1937 году Детское Село), оказываются те самые испанцы-добровольцы.

Даниил Петров, ему 22 года, прекрасно знал испанский язык и, естественно, любопытство привело его к общению с ними. В итоге он становится официальным переводчиком при «Голубой Дивизии». Проходит три года оккупации и в январе 1944 года испанцы и немцы изгоняются из Ленинградской области. И



происходит трагический перелом в судьбе Даниила Петрова.

Вместе с «Голубой дивизией» в оккупированном Пушкине оказывается один белый эмигрант, царский офицер Александр Александрович Трингам, участник Первой Мировой и Гражданской войны в России, и в Испании, во время их Гражданской, он доброволец. Сейчас всё чаще рассказывают про микроповторение гражданской войны, там тоже воют белые и красные русские. Трингам после победы франкистов остался в Испании, в 1941 году он – в Царском Селе, тоже переводчик, они работают в одной конторе. Как вспоминал Даниил Петров, Трингам стал первым русским эмигрантом, которого он встретил. От него он узнал о других эмигрантах, в первую очередь, о князе Владимире Кирилловиче.

Рассказы о здравствовавшем главе Дома Романовых в зарубежье так впечатлили юного царскосела, что это определило его дальнейший путь – он избирает политическое кредо, становится монархистом и, по сути дела, обрекает себя в дальнейшей своей долгой эмигрантской жизни на положение маргинала, на отстранённость от большой зарубежной периодики именно из-за своего старорежимного политического кредо. Он оставил небольшие воспоминания о своем уходе с родины. Даниил чуть было не попал в Италию.

Иван Толстой: «Когда поражение Германии уже определено, знакомые мне предлагали уехать в Казачий стан в Италию. Я им: «Я же не казак!» – А они: «Это не беда. Если вы сочувствуете идеалам казачества, то и довольны. А место там для вас найдется». И верно, надо полагать нашлось бы, благодаря знанию языков. Но я в итоге бежал пешком на Запад, растворившись в толпе двинувшихся туда иностранцев. Называясь в пути то французом, то поляком, пока не добрался до одной речки, за которой начиналась занятая американцами территория. Помню свои странствия как сон, в знойное лето, по пустынной стране...

С едой, правда, трудностей не возникло. Покинутые населением дома были полны пищей; попадались даже брошенные походные кухни (и множество банок с консервами; да как было их открывать?). Путь шёл через поля боя, заваленные трупами тех немцев, которые решили биться до последнего. Чудом перешёл через речку, где толпу беженцев просеивал американский контроль, и очутился в свободном мире, где быстро достиг затем и Франции. Во Франции орудовала на полный ход советская репатриационная миссия.

В свободном мире... Но для нас в нём свободы не существовало. По чудовищному, преступному ялтинскому соглашению все бывшие советские граждане подлежали передаче большевикам. Когда мы поняли это, конечно, советских больше не стало: все перекрасились в польских, турецких, всё равно каких еще подданных, в старых русских эмигрантов из Югославии или из Германии, – у кого какой изобретательности хватило ...

Старая эмиграция была полна патристическими иллюзиями: левые восторгались «страной победившего социализма», правым нравилось вообразить матушку-Россию как продолжение царской империи. Во Франции орудовала на полный ход советская репатриационная миссия, хватая всех подозрительных

– при активнейшем участии сделавшихся совпатриотами старых эмигрантов: без них работа бы не пошла... Напротив, французским чиновникам, к их чести будь сказано, претила роль палачей. Какая-нибудь мало-мальски правдоподобная бумажка, – и они охотно исключали принесшего её человека из числа предназначенных на выдачу, веря, или делая вид, будто верят, что он западный украинец, или настоящий поляк, либо болгарин».

Михаил Талалай: В итоге Петров оказывается в Париже. Я подробно рассказываю о его биографии, потому что она впервые нами описана и выявлена, и наверняка в ней найдется ещё много чего интересного. Хотя парижская жизнь его была достаточно монотонна, он не вписывается в традиционный эмигрантский круг, его отчисляют из знаменитого Свято-Сергиевского подворья, Богословского института, после второго курса за монархические идеи. Петров без благословения начальства отправился на съезд монархистов, которой шёл под эгидой Русской Зарубежной Церкви (монархической ориентации). Это ему не простили. После чего он посвящает себя, в первую очередь, политической деятельности, но не забывает свою любовь к языку, к фольклору и заканчивает престижную парижскую Школу Восточных Языков. Он знал, как говорят, более 20 языков и ему приписывают шутливую фразу, что «тяжело даются лишь первые 17, а потом всё идёт легче».

Жизнь маргинала привела к тому, что почти все парижские годы работал ночным сторожем. Днём он сочинял, писал, учил языки, занимался лингвистикой, но ни в какие академические и научные учреждения он так и не вписался.

Иван Толстой: Михаил Григорьевич, а как же быть литератором, рецензентом, читать литературу, откликаться на неё, если тебя не публикуют? Где-то он всё-таки нашёл для себя площадку?

Михаил Талалай: Да, площадка была, но во второстепенных эмигрантских изданиях, в первую очередь, его охотно публиковала аргентинская газета «Наша Страна». С «Русской Мыслью» он поссорился, повздорил с Н. Струве и его «Вестником РХД». В итоге он публиковался в брюссельском журнале «Часовой», а также в забытых ныне изданиях «Заря России», «Наши Вести», в германском журнале «Русский Клич». И тут очень занятный момент его невероятной плодовитости, для нас составивший немало сложностей: он использовал с десяток разных псевдонимов.

Мы на трёх книгах поставили имя Рудинский, это главный псевдоним. Но из Парижа в газету «Наша Страна» писал некий Аркадий Рахманов, причем исключительно о лингвистике, он вёл рубрику «Языковые уродства», фанатично борясь за чистый, правильный русский язык, критикуя всевозможные модернизмы. Тот же Петров, якобы из Канады, под именем Гамид Садыкбаев вёл рубрику о монархизме и публиковал исследования об этнографии народов России, дореволюционного и советского периода. Из Швеции писал литературовед Савва Юрченко, из Италии – Геннадий Криваго, из Греции – Виктор Штремлер, из Лондона – Вадим Барбарухин. Существовала, на-

конец, некая дама-политолог Елизавета Веденева из Бельгии, которая весьма эмоционально вела рубрику «Миражи современности», яркий раздел газеты «Наша Страна», который печатался на первой полосе.

Иван Толстой: Михаил Григорьевич, Рудинский-Петров был необычайно плодовит, а качество того, что он оставил в литературе, каково? Его единственный беллетристический труд – «Страшный Париж»...

Михаил Талалай: Он писал выразительно и, на мой взгляд, интересно и важно, перед нами – практически вся история всей русской литературы второй половины прошлого века. Пожалуй, для меня лично главная претензия к нему, что часто он свою монархическую идею продвигает и в литературоведение. Ну и некий безграничный патриотизм, – например, Набокова он не воспринимал, считал, что тот чуть ли не национал-предатель, раз перестал писать на родном языке, и перешёл на английский. Но, в целом, ярко и эмоционально. А теперь и сами читатели могут с этим познакомиться.

И главное, у него было и свое собственное литературное дарование, что для меня открылось не сразу, потому что я не сразу обратил внимание на его единственный беллетристический труд – «Страшный Париж». Мне эта книга даже понравилась больше, чем его литературоведческие очерки. Этот текст не имеет, на мой взгляд, прецедентов в нашей литературе, это смесь детектива, триллера, каких-то оккультных вещей и их духовной оценки. Здесь Петров-Рудинский – истый царскосел, он упивается старым литературным языком, странными персонажами, мистическими и спиритическими сеансами, однако всё это погружено в старо-эмигрантский Париж. Сыщик там – настоящий француз, бретонец; автор изливает на нас массу информации о криминальном Париже, а также о русской диаспоре. Ему эту книгу не удалось издать в важных эмигрантских издательствах и, как ни странно, она выходит в Иерусалиме, в 1992 году. Поклонница его литературной работы Дора Штурман, сама известная литературовед, поспособствовала выходу этой книги, написав любопытное предисловие.

Иван Толстой: Из предисловия Доры Штурман к иерусалимскому изданию «Страшного Парижа»:

«Полагаю, что цикл новелл, объединенных общими героями, названный Рудинским «Страшный Париж» не имеет прецедента. Кроме сюжетной увлекательности цикла в целом, он интересен и своими мыслями, и обобщениями, не всегда однозначными и поддающимися легкому определению; и своей мемуарной основой, детали которой вполне реалистичны, несмотря на оккультные приключения лирического героя, и многим другим. Я бы сказала, что при первом чтении, как во всяком детективе, да еще фантастическом или мистическом, читателя более занимает сюжет новелл, чем мировоззренческая основа всего цикла, его философия. При повторном же чтении, особенно через некоторое время, более существенной становится для внимательного читателя глубинная основа чувств, размышлений и нравственно-философской позиции

автора, выступающего в лице двух героев: лирического (рассказчика), русского эмигранта, и его друга, полицейского детектива-бретонца.

Сквозь весь цикл проходит взаимное противостояние инфернального Зла и мирового Добра. Противоборство между ними разворачивается как внутри человеческой души, так и вокруг неё. С одной стороны – за власть над нею и её погубление (Зло), а с другой стороны – за её устояние и спасение (Добро). Инфернальное Зло персонифицируется автором в самых разнообразных проявлениях черной магии, колдовства, в деятельности оккультных сект, учений, сливающихся издревле в некий интернационал служителей и рабов дьявола. Добро – как защита, прибежище и спасение человека – воплощается в высшем и конечном смысле в христианстве. Это четко осознают оба «сквозных» героя новелл: русский рассказчик и следователь-француз. Но «Страшный Париж» (с его впечатляющим мистическим реализмом коллизий – реализмом в изображении сверхъестественного) лишен однозначной и прямолинейной менторской назидательности и дидактичности. Борьба изредка проглядывает даже в душах обоих героев: то в виде крайне рискованного любопытства, тяги заглянуть в бездну, соприкосновение с которой христианам заказано; то в форме мстительного порыва. Между тем, в злорадстве над поверженным Злом тоже есть нечто несовершенное.

Рассказчик не приукрашивает и не скрывает эти двусмысленные моменты. Он словно бы обозначает опасности, от которых никто не застрахован раз навсегда. Да и сама ситуация противоречива, антиномична: не заглядывать в бездну, но быть бдительным к её исчадиям; не прибегать к магии, но иногда нет иного спасения, кроме контрмагии (т. е. «белой магии») и не только универсальной самозащиты Крестом и молитвой, но и, так сказать, специальных магических контрприемов); не соприкасаться со Злом, но активно сражаться с ним – как же сражаться, не соприкасаясь? Исчерпывающего раз навсегда ответа на эти вопросы у Рудинского нет».

Иван Толстой: Михаил Григорьевич, а в ваш трёхтомник вошёл этот роман?

Михаил Талалай: Роман Рудинского был переведен в России в середине 90-х годов с минимальным введением, где, естественно, ничего не говорилось о «Голубой Дивизии»: неизвестный писатель, книга вышла в Иерусалиме, а теперь выходит в Москве... И меня это московское переиздание останавливало. Но в итоге мы решились на своё переиздание и на некую вольность – этот заключительный том мы назвали «Два Парижа». В нём две части. Первая – собственно «Страшный Париж», а вторая – парижские очерки самого Рудинского, его криминальная хроника – он охотно писал о парижских преступлениях – и очерки о русском Париже. Мы собрали эти его тексты, составив некое документальное приложение к «Страшному Парижу». Сборник завершает нашу трилогию и даёт читателю образ не только литературоведа, эмигранта-патриота, который только и живет покинутой Россией, иногда особенно не представляя, что там происходит, но и образ интересного писателя.

«Мать русской эмиграции»

К 160-летию со дня рождения Надежды Николаевны Крамарж



Надежда Николаевна Хлудова — Абрикосова — Крамарж (1862 — 1936). Фотография 1935 года, Прага, вилла Крамарж в Праге.

Речь в этом материале пойдет о «матери русской эмиграции» Надежде Николаевне Крамарж (1862 - 1936). Фамилия этой русской женщины принадлежала второму мужу моей прабабушки, Карелу Петровичу Крамаржу (1860 - 1937), видному политическому деятелю центральной Европы, «младочеху», защитнику прав всех славян Европы от угнетения со стороны германских народов, депутату австрийского Парламента. Именно он стал первым главой правительства независимой Чехословакии, именно его позиция о судьбе России лишила продолжения его политическую карьеру, но заслуженно дала право ему носить титул «первого премьера — последнего русофила» и «апостола славянства» у себя на Родине.

Однако и его супруга, Надежда Николаевна, рожденная Хлудова, была удивительным человеком, легендарной женщиной, вдохновлявшей своего супруга на его борьбу, ставшей музой некоторых русских мыслителей и философов.

Надежда Николаевна Хлудова родилась в 1862 году в семье московских промышленников, ставших основателями крупнейших в мире предприятий по производству хлопчатобумажных тканей, Хлудовых.

Вот как об истории этого значимого для делового мира России рода пишет академик Пётр Бернгардович Струве, в своих воспоминаниях, посвященных Надежде Николаевне Крамарж, опубликованных Галлиполийским Землячеством в Праге в 1936 году:

«Род Хлудовых, к которому принадлежала Н. Н. Крамарж, занимает в истории русской «буржуазии» крупное и почётное место. Это настоящие пионеры подлинной самобытной русской промышленности, своей энергичной и умной предприимчивостью сыгравшие в её развитии весьма значительную роль. Целые области — по предмету текстильная (хлопчатобумажная) промышленность — и географически — Егорьевский уезд Рязанской губернии — носят печать духа и труда этих сильных людей. И замечательно в их деятельности: рука об руку идут творческое хозяйственное деланье и культурное строительство. Особый размах предвещала деятельность Ивана Алексеевича Хлудова (1839 — 1868), который являет облик смелого русского предпринимателя, связывающего

русскую предприимчивость и с Западом и с Востоком: он работает коммерческим волонтером в Бремене, открывает русскую контору в Ливерпуле и затем, стремясь завоевать для русской промышленности только что завоеванный русским оружием Туркестан, не достигнув 30 лет, умирает на этой работе в Самарканде. Этот Хлудов, по средней школе воспитанник петербургской немецкой Петершule, идейно и общественно близок к московским славянофилам, с Иваном Аксаковым во главе. Все эти Хлудовы — люди крупных умственных запросов и большой действительности, и такова же была Надежда Николаевна Крамарж с властным и суровым, чисто русским, упором её воли».

Вот из такой породы была моя прабабушка, героиня этого повествования — Надежда Николаевна Хлудова — Абрикосова - Крамарж. Обладавшая «упором воли» которой она проявляла в своей богатой на события жизни, Надежда Николаевна проявила себя в безграничной любви к своей Родине, к ее роли в судьбе славянских народов.

Так, будучи в первом браке с моим прадедом Алексеем Алексеевичем Абрикосовым, она стала держательницей первого в России, Философского Салона, который располагался в квартире молодых Абрикосовых на Остоженке в Москве.

В воспоминаниях Владимира Ивановича Немирович-Данченко мы можем прочесть и о молодых супругах Абрикосовых и о салоне Надежды Николаевны следующее: «Надежда Николаевна и её муж Абрикосов принадлежали к той категории московских купцов, которые < . . . > отправлялись учиться за границу, в Лондон, говорили по-французски и по-английски.

< . . . > Абрикосов, кондитерский фабрикант, участвовал в создании журнала по философии и психологии, а у его красивой жены был свой салон. Здесь можно было встретить избранных писателей, артистов, ученых. В её полусвещенной гостиной раздавался смех Владимира Соловьева, тогдашнего кумира философских кружков . . . И вот однажды в этом салоне появляется блестящий политический деятель из Праги. В комнате, где можно было курить, приезжий оратор, энергичный, чувствовавший свой успех, говорил на вопрос о том, что лучше: чтобы звонило много маленьких колоколов или чтобы из всех их был вылит один мощный колокол?» Хозяйку московского салона заботила и деятельность ее второго супруга, видного славянофила и европейского политика. Его роль в объединение славян восточной Европы и России сложно недооценить. По инициативе К. П. Крамаржа была разработана конституция конфедерации славянских государств Европы (1914 год) и был проведен Славянский Съезд в Софии в июле 1910 года».

Вот как Карел Петрович пишет о поддержке со стороны своей супруги его «славянских идеалов»: «В особенности она была довольна, когда много русских и русских поляков съехалось в Прагу на славянский конгресс 1906 года! Она вполне разделяла мои славянские идеалы и старалась, насколько это было только возможно, помочь русско-польскому сближению, каковое и удалось осуществить на съезде. Должен сказать, что наша

внутренняя политика интересовала Надежду Николаевну лишь в той мере, в какой она отражалась на моем настроении; но все то, что касалось славянства, было для нее дорогим и близким. Поэтому она с такой радостью поехала вместе со мной в 1910 году на славянский съезд в Софию, откуда мы потом через Царьград проехали в Крым».

Говоря о судьбе супругов Крамарж нельзя не сказать и о том, как к ним относились в руководстве Австрийской Империи в начале Первой Мировой войны. Карл Крамарж к тому времени был видным политическим деятелем Европы и после объявления Россией мобилизации он, имея репутацию панслависта и русофила, был заключен под стражу в 1915 году и обвинен в государственной измене, в разжигании Великой Войны и в привлечении России к решению судеб славянских народов Европы. Суд в Вене приговорил Карла Петровича к смертной казни через повешение, но Надежда Николаевна сумела добиться изменения приговора на пожизненное заключение своего супруга, проведя для этого множество встреч с влиятельными политиками Австро- Венгрии и Европы. Франц Иосиф I не решился казнить Крамаржа и других его сподвижников.

Отбывая свой срок вместе со своими товарищами по борьбе, Карел Петрович был обнаружен своей супругой в полном изнеможении ввиду того, что власти прекратили кормить узников новостей. И только вмешательство Надежды Николаевны в судьбу чешских политиков — заключённых, и её фраза, сказанная на аудиенции у министра внутренних дел Австрии; - «Суд приговорил моего супруга к смерти, но не к смерти от голода!» - спасла от страшной судьбы и самого Карла Крамаржа, и его сподвижников.

После распада Австро — Венгрии и обретения независимости Чехословакии, Карел Петрович был встречен как истинный герой, а его супругу все чехи стали величать «наша русская мама». Став первым премьером Чехословакии Карл Петрович не забыл и о великой России, на которую обрушились несчастья большевицкой власти и гражданской войны. Именно он требовал от союзных России государств — Великобритании и Франции — выделения военных сил для немедленной интервенции в Петербург для отстранения от власти захвативших власть большевиков.

Но его план не получил поддержки и даже был высмеян в европейской прессе. Мне думается, что европейские «друзья» и союзники Российской Империи, надеялись на то, что именно большевики, пришедшие к власти в России, смогут эффективно разрушить наше Отечество, привести его к уничтожению. Судьба для России, без которой, по мнению четы Крамарж, в Европе невозможно было достичь устойчивого мира и благоденствия, летела под откос, лучшие русские люди вынужденно покидали свою Родину, начался великий исход.

Именно Надежда Николаевна впопелдствии стала «матерью русской эмиграции» для всех русских, вынужденно покинувших свою Родину - на время, как всем тогда казалось! По общему замыслу четы Крамарж Русская Армия, вывезенная из Крыма, была обязана сохраниться для продолжения борьбы

в качестве действующей военной силы. И в этом деле роль Надежды Николаевны была огромной!

Вот как пишет в своих воспоминаниях об этой роли героини моего повествования, Н. Н. Крамарж, опубликованных Галлиполийским землячеством в 1936 году в Праге, профессор Люблинского университета Е. В. Спекторский: «Когда в Праге появилась русская эмиграция, Надежда Николаевна не отвернулась от неё как от людей, ставка которых бита и не навязывала ей ту или иную нерусскую ориентацию < . . . > - она не только приняла большое и деятельное участие в организации чешской помощи впадшим в беду русским братьям, она сразу же дала им почувствовать, что она всю душу с ними < . . . > . Вследствие этого вполне понятна та широкая известность, которую она приобрела как в пражском русском обществе, так и у всей вообще эмиграции. Русский стиль сказывался не только в отделке некоторых комнат в доме Крамаржей, но и в отношении хозяйки к многочисленным русским посетителям. Этот дом стал как бы центральной станцией для духовного общения русской эмиграции. Все лучшие представители русского воинства, науки, искусства, публицистики, учащейся молодежи охотно бывали в нём. Там они чувствовали себя опять как у себя на Родине. Когда будет писаться история нашего рассеяния, все это будет всесторонне освящено».

Среди опекаемых у Надежды Николаевны были и барон П. Н. Врангель, главнокомандующий Русской Армией и все объединяя русских воинов, сплотившихся в Галлиполийское Землячество и в Русский Обще-Воинский Союз.

Поддерживала Надежда Николаевна и русских учёных, литераторов, преподавательский корпус, бежавший из России под страхом неминуемой гибели на Родине, объятый пожаром, так называемой революции. Она координировала работу множества благотворительных и общественных русских. Так, на средства Надежды Николаевны Крамарж издавался в Париже журнал Ивана Ильина «Русский колокол». От голодной смерти в Париже были спасены жена и сын выдающегося русского издателя и драматурга, Алексея Сергеевича Суворина, а его сын — стал журналистом, окончив на средства Н. Н. Крамарж журналистический факультет. Финалом служения Надежды Николаевны Крамарж русскому делу стало строительство на Ольшанах в Праге первого православного храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. Для его строительства, именно под предводительством Надежды Николаевны и на ее средства, было создано «Ольшанское Братство», по уставу которого эта организация должна была объединять православных людей в центре Европы ради сохранения православных традиций и единства. В его крипте по сей день покоятся останки двух великих людей — Надежды и Карела Крамаржей.

Обращаясь к урокам нашей истории, мы должны верно понимать, что они не являются случайными событиями, но могут стать актуальными для нашей современной жизни, во имя возрождения России.

Дмитрий Абров.
Москва, 2022 год

ПУТИНСКИЙ ИДЕОЛОГ ДУГИН И АТОМНАЯ ВОЙНА



Даже тогда, когда в пылу битвы никто не думает об идеях, идеи направляют оружие соперников, более того, философия подготавливает и оправдывает конфликт, ибо служит ему идеологической платформой. Так, во время Сталинградской битвы один английский журналист сказал, что в этом отчаянном бою левое гегельянство сражается с правым.

Вторжение Путина на Украину на первый взгляд обходится без философии и представляется актом беспричинной, слепой и безмозглой агрессии, которая никому не принесёт какую-либо выгоду. И тем не менее и у этой войны есть философия, которая толкнула Кремль на безумную авантюру.

Это философия Александра Дугина, которого аналитики считают "мозгом Путина". Главное в ней, ненависть к бытию как таковому.

Дугин планирует взорвать весь земной шар, поскольку небытие, по его мнению, в конечном счёте лучше бытия. Бытие разделяет людей, а небытие соединяет. Его философия - стремление к смерти.

На протяжении послевоенного времени, 70 с лишним лет, все как-то отвыкли думать о войне в силу того, что оружие массового уничтожения привело к осознанию её невозможности, как самоубийства для человечества.

Но есть и такие мыслители о бытии, которые усматривают его цель в небытии. Откровенно это высказывается в евразийской ветви современной идеологии, которая представлена Дугиным.

Философия, которая оправдывает гибель человечества, то, что можно назвать "онтоцидом". Убиение бытия. Тактика выжженной земли иногда проводится отступающей армией, чтобы не дать возможности агрессору использовать захваченные ресурсы. Но и такая тактика запрещена международными нормами ведения войны. А в данном случае тактика выжженной земли применяется нападающей армией, которая маниакально опустошает украинскую территорию как таковую, превращает в руины целые города. Истребляя заодно и русских, плотно населяющих такие города как Мариуполь или Харьков.

Это противоречит не только международному праву, но и прагматике войны. Даже нацистская Германия старалась не разрушать больше того, что было необходимо для военной победы, чтобы впоследствии оккупировать эти земли с пользой для дальнейшего развития.

Нынешний агрессор превосходит все рекорды середины XX века по деструктивности военных действий.

Как такая философия может устраивать Путина? Ведь это философия самоубийства. Каким политическим целям служит эта философия? Что приводит современную Эрефийную власть в состояние одержимости, включающей возможность уничтожения человечества?

Первая причина - это уникальное богатство и ощущение вседозволенности, которое эта власть приобрела за два предыдущих десятилетия. Известна такая антифеода: воруга или кровопийца; но одно не исключает другого. Когда ты столько наворовал, когда чуть ли не полмира находится у тебя в кармане, возникает пресыщение и искушение дальнейшего шага: от **иметь** — к **быть или не быть**.

Это легко понять, если вспомнить Фёдора Михайловича Достоевского и его сверхпресыщенных персонажей типа Ставрогина или Свидригайлова, которые кончают самоубийством. Есть доля вместимости для человеческого духа, осваивающего земные сокровища: где-то ему хочется переступить эту последнюю черту, испытать себя на краю небытия.

Вторая мотивация - это пандемия, которая стёрла границы между жизнью и смертью, обнажила хрупкость бытия и приблизила смерть к каждому смертному, в том числе к диктатору. Выяснилось, что при всём всемогуществе, смерть - хозяйка в его доме, а сам он может отобрать у неё эту роль, лишь угрожая миру ядерным оружием. Желание возместить за унижение, перенесенное во время пандемии, оправдать свой страх, видимый всем, возможно, тоже побуждает к тому, чтобы принять столь активную позицию в отношении конца человечества.

Дугин - основатель сперва Национал-Большевицкой Партии, а затем Евразийской Партии. И это евразийство очень злое по намерениям. Дугин провозглашает "эсхатологический захват планетарной власти... Хитрый и жестокий захват". В катехизисе Евразийского Союза Молодежи записано: "Мы имперостроители новейшего типа и не согласны на меньшее, чем власть над миром. Поскольку мы - господа земли, мы дети и внуки господ земли. Нам поклонялись народы и страны... Мы всё вернём назад".

Это дешёвое, вульгарное и вместе с тем, безусловно, опасное и агрессивное нищестанство. С точки зрения философской это просто плевок в адрес Запада, ничего более субстанциального. Но в плане практических действий, поскольку эта риторика обеспечена ядерным оружием, к ней надо прислушаться.

Именно Дугин, а никак не Ильин или Солженицын, как утверждают на Западе, влияет на Путина.

Во многом русские обязаны автору "Архипелага Гулаг" своим освобождением от коммунизма. И нет никакого идейного присутствия Солженицына в нынешней агрессии РФ против Украины и западного мира. Главная работа Солженицына философского-политического плана - это "Раскаяние и само-

ограничение как категории национальной жизни" (1973) в сборнике "Из-под глыб". Там он призывает к обращению России внутрь себя, прекращению всяких международных политических и военных авантур.

Рассматривая нацию как цельную личность, Солженицын вменяет ей в добродетель смирение, а не гордыню. Надо сказать, что там впервые появляется термин "национал-большевизм", причём в крайне отрицательном освещении. Солженицын констатирует: появилась холодная и жестокая идеология.

Солженицын полагал, что политическое будущее России - это развитие земства, местных микроструктур власти, растущая самостоятельность органов самоуправления. Вместе с тем он, действительно, считал необходимым союз России, Украины и Беларуси - союзное государство с добавлением, возможно, северного Казахстана. Но не силою! Это уже в работах 1990-х годов, прежде всего, "Как нам обустроить Россию?". В принципе он был против экспансии. Евразийство же - это воля к власти и экспансии.

Солженицын был сторонником развития России вглубь, прежде всего путём освоения северных и восточных территорий. Это была православная позиция: давайте займёмся собой, как подобает верующему человеку, который печётся прежде всего о собственной душе. А всякие поползновения о том, чтобы владеть миром, вторгаться в чужие дела, нужно отринуть - это соблазн гордыни. Так что Солженицын никак не поддержал бы нынешнюю самоубийственную политику путинских властей.

Когда Солженицын вернулся в Россию, он сказал: "Единственный способ России выжить - это стать по-настоящему христианским государством". По-настоящему религиозную державу строят".

Но давайте поговорим о другой составляющей дугинской философии. На сегодняшнем дне лежит густая тень нацизма. Поэтому, говоря о философии, нельзя не вспомнить Хайдеггера, соблазненного Гитлером. Сам философ объяснял это тем, что не может "созерцать образованный народ без метафизики. Это как величественный храм без святилища". Можно ли считать вымыслы путинского философа попыткой найти или вернуть русскому народу свою метафизику под названием "русский мир"?

Не зря власти начали усиленно заказывать своим штатным идеологам "национальную идею", которая вместо кодекса коммунизма "сплотила" бы народ. Национальную идею первым стал "заказывать" Ельцин. Он рассчитывал на либеральную интеллигенцию 1990-х годов и бросил клич: давайте создадим свою национальную идеологию. Ничего из этого не получилось. Путин тоже долгие годы рассматривал как совершенно не идеологический человек, занятый в основном коммерцией и коррупцией. Но в конце концов он усвоил идеологию жалчайшего стиля, ту, что слышится у эре-

фийных "буревестников" типа Проханова и Прилепина: "Наша национальная идеология - война".

Что касается Хайдеггера, которому поклоняется Дугин, то когда разговор заходит о сущности бытия, о "сутствующем", то слышится в этом голос небытия. И в самом деле, бытие, по Хайдеггеру, ничтожит себя, а значит, требует войны. Его "фундаментальная онтология", которая вся опирается на понятие "ничто", переходит в *онтоцид*. Отсюда у Хайдеггера поддержка Гитлера, того *экзистанса*, который оправдывает войну, голую, слепую, безудержную волю к власти. Да простят меня поклонники Хайдеггера, это философия пораженческая, поражение софии и разума.

Между тем, каждому отцу и матери, каждому вменяемому человеку, ответственному за бытие свое и своих детей, свойственна забота о том, чтобы бытие продолжалось и оберегало себя.

Первые слова Иисуса Христа своим апостолам были: "Мир ти".

Не нужно придумывать какую-то особую "антивоенную" философию. Сам факт нашей жизни есть императив, указание того, что нужно делать: воспроизводить и умножать тот источник жизни, из которого мы сами "излиты", переливать его в других. Данность содержит в себе задание. Живёшь - оживляй. Вышел из тьмы - выводил других. Родился - рожай. Ешь - корми. Думаешь - пробуждай мысль. Все глаголы своего бытия превратить в переходные.

Это творческое отношение к бытию, или, как выразился, Альберт Швейцер, "благоговение перед жизнью", мне кажется самым ответственным постулатом современной философии, которое может противостоять безумию путинско-дугинского милитаризма: простое, здоровое представление о том, что мать должна кормить детей, отец должен заботиться о благосостоянии семьи. Вот с этого надо начать, и этим, может быть, и закончить.

Есть разница между витальностью и агрессивностью.

Агрессивность - не полнота витальности, а пустота национальной или персональной жизни, которая ищет себе наполнение в том, чтобы захватывать чужое. Мертвые хватаются за живых, чтобы утвердить себя в иллюзии своей жизненности.

Война способствовала резкой смене понятий в общественном сознании, вернее - разрушению установившихся понятий. Наступил дефолт смысла для множества слов. Бомбёжки исконных русских земель называют "освобождением", а воинскую "честь" и "доблесть" видят в уничтожении мирных граждан. Важно вернуться к основам мышления. "Судьба", "любовь", "мудрость", "душа" - эти первопонятия служат для определения множества других понятий. Задуматься о них - один из самых надежных способов предотвратить разрушение смыслов, а значит, и самого человеческого осмысленного бытия.

Б. Глебов